

Глава первая

ЯНТЬЕ-БЕЛОРУЧКА



сем на свете мы обязаны милостивому господину Свинкелю.

Так говорит маманя, а с маманей лучше не спорить: вмиг протянет тебя по хребтине скрученной в жгут тяжёлой мокрой простыней! Ой-ой, сразу все возражения забудешь.

А мокрые простыни у неё целый день в руках: маманя — лучшая прачка славного города Алкмара и окрестностей...

— Ян! Янтъе!.. Куда ты опять провалился, наказание моё!.. Янтъе!

Эх, это меня. Если маманя сама найдёт, то только хуже будет. Я с тоской посмотрел на обломок лезвия рыбацкого ножа, который как раз оттирал от ржавчины, засунул его в самодельные, но крепкие ножны из куска свиной шкуры, спрятал под рубахой и вылез из кустов сирени.

И припустил к дому.

— Янтъе вейнуйся! — обрадовалась моему появлению сестра, Кáтье-младшая, что сидела на маленькой лавочке у калитки и перебирала стручки фасоли. — А тебя маманя жовёт!

Сразу три зуба у неё выпали как раз днями, отчего она отчаянно шепелявила, и получалось смешно.

— Знаю, — веско обронил я и прошёл в калитку.

Перед тем как идти дальше, на задний двор, откуда слышался уже голос матери, остановился и хорошенько ополоснул руки из висящего на цепи деревянного ведёрка. Мельком отметил, что воды уже мало и надо бы долить. Так что вошёл к мамане я солидно, мол, вовсе не забыл про всё на свете, а иду с ведром по делу.

— Вот ты где, горе моё! — на маманю эта солидность никакого впечатления не произвела и не обманула. — Ты где шатаешься, когда пора простыни госпожи Берксма снимать?!

Ох, точно! Ой, голова моя пустая, ведь что стоило сначала-то мамане помочь, зато потом весь день — мой?! А теперь маманя уже не отпустит, рассердилась, сразу видно.

Она руки в боки, на фоне развешанных всюду отбеленных простыней, белоснежных рубах и другого разного белого-белого. Лёгкий ветерок шевелил всё это белое царство, оно волновалось, словно молочное озеро или даже море, похожее на паруса. Не те, обычные, серые да залатанные паруса рыбачьих лодок, что выходят каждое утро на лов, а паруса волшебных кораблей, о которых рассказывала маманя, когда я был маленьким, и на которых плавали всё сплошь короли да феи.

Но теперь сказок не предвиделось. Маманя жутко сердилась — посреди ослепительно белого двора, пахнущего мокрой травой, свежей водой и нежным запахом секретного мыла, из-за которого она и славилась первой прачкой города Алкмара и его окрестностей.



Это все признают, недаром же каждое утро, ещё до рассвета, тянутся к нашему дому служанки богатых алмарских господ с корзинами белья. Все такие городские, важные — ни одной босой нет, все в деревянных башмачках-кломпах, а иные ещё и в лакированных, раскрашенных. В таких, небось, и по райским облачкам прогуляться не стыдно*.



На наших, деревенских, и глядят-то искоса, только между собой шу-шу-шу да хи-хи-хи. Бывает, и на лодках, а то и на возках подкатывают, во дают! Это ж по деньгам чуть не стойвер выходит, на такие шиши можно ножик купить у старьёвщика дяди Вима! Да хороший ножик, почти не использованный, не сточенный.



А всё одно мамане кланяются, городские-то, просят быстрее именно их корзину в работу взять. Знаем мы их, небось, бельё-то ещё прошлым днём надо было нести, а эти вертихвостки вместо работы орехи грызли да сплетничали. А теперь вот «окажите милость побыстрее, уважаемая Катъё!».



Маманю тоже Катъё зовут, как и сестрёнку. Ну то есть наоборот, конечно: сестру в честь мамани назвали. Это всегда так. Первую дочь обязательно в честь маманиной мамани называют. Как нашу Лидье, старшую сестру. Она уже взрослая, ещё зимой замуж в деревню Оутерлейк вышла, что аж на другом конце нашего огромного Схермер-озера.

* Комментарии к некоторым историческим событиям, деталям быта и географическим реалиям тех времён см. в конце книги на стр. 289. Те фрагменты текста, к которым есть комментарии, обозначены на полях значком  .

Вторую же положено в честь папаниной мамани, как нашу Минтье. Только не повезло Минтье, умерла она давно, когда я сам ещё маленьким был. Кашляла да и умерла.

А вот первого сына назовут, конечно, в честь папаниного папани, дедуни, значит. У нас в семье это легко — уже лет сто одни Яны рождались. И папаня мой Ян был, и дедуня Ян, и его отец — тоже Ян! Удобно.

Так что зовут меня «Маленький Ян» — Янтье. Ян, сын Яна Канатчика, Яна ван Тау, — звучит! Я — Ян Янсзон (что и значит «сын Яна») ван Тау! Во как!



Правда, никто меня Яном Янсзоном ван Тау не назовёт — полное имя богатым да знатным господам полагается. А мы не знатны и совсем не богаты: весь доход только от маманиной стирки. Папаня-то у меня умер: вышел прошлой осенью на лодке да и сгинул. Хоть и не такое глубокое, как море, а осенними штормами страшно наше Схермер-озеро.

Искали неделю: рыбаки своих не бросают, а мы хоть и не рыбным делом занимаемся, а всё ж свои, деревенские. Да и папаню моего знали все тут: небось не в каждой деревне свой канатный мастер есть.



А нас в семье тогда трое голодных ртов было: я, Лидье, моя старшая сестра, и Катье-младшая, меньшая сестрёнка. На Рождество, правда, Лидье вышла замуж, да получилось как бы не хуже: помогать мамане стирать остался я один. Катье-младшая ещё маленькая совсем, пять лет всего.

Были у меня, конечно, ещё братья и сёстры, только они быстро померли, младенчиками. Сейчас, верно, они в раю, играют да кушают спелые яблоки. В раю-то, небось,

и игрушки все новые, не замусоленные, как Анни, кукла нашей Катье-младшей. Ещё бы, с Анни и Лидье играла, и ма-
маня наша, когда сама девчонкой была, и даже маманина
маманя, что умерла задолго до моего рождения.

В раю-то, небось, куклы все новые!

Правда, год назад, когда и папаня жив был ещё, объ-
явился у нас в деревне новый проповедник. Дело обыч-
ное — как полвека назад, как раз после Наводнения всех свя-
тых, католиков-то прогнали, так стало таких проповедни-
ков не счесть. И все вроде про одно толкуют, а по-разному.

Этот же прошёлся по деревне, залез на бочку на углу
трактира да давай своё учение проповедовать. Народ, ко-
нечно, подошёл, послушать-то. Всё какое представление.

Поначалу тот проповедник людям понравился. Потому
что слова говорил всё больше строгие, порядки предлагал
суровые, для рыбаков-то самое оно. Особенно про то, что
в Библии, мол, рыбаков особо выделяли и им уж точно пер-
вое место в раю давали. Это, по мнению собравшихся, бы-
ло верно и правильно. Не моряков же, в самом деле, первы-
ми в рай пускать! Рыбак — он цельный день занят, а моряк
что? Сел себе на корабль да плыви-отдыхай! Бездельники
они — таково про моряков твёрдое рыбацкое мнение!

А проповедник, видя такую поддержку, совсем раздуха-
рился и, размахивая руками, вещал:

— Другим же, недостойным, ад положен от рождения!
И псы адовы в мантиях епископских рвать их плоть и тя-
нуть жилы будут!..

Тут, правда, толпа слегка посмурнела: епископы — они
же и светские владыки, как-то негоже, чтобы в их мантиях

всякие собаки разгуливали. Опять же, если епископа-владыку раздеть можно, то и графа какого, небось, тоже? А то и короля? Нет ли тут умаления власти?



Но проповедник ничего не замечал и не унимался:

— А земля в аду вымощена черепами некрещённых младенцев!



Толпа затихла. Даже мы, ребятня, сидевшие поодаль на заборах, притаились. Без крещения, конечно, в рай не попасть... Да только у любого тут, кого ни ткни, то сын, то дочь, то брат или сестра во младенчестве умерли. Воля Божия, конечно, но такого стерпеть народ не мог.

Откуда ни возмись на бочке очутились двое: Тим-плотник да Ян, мой папаня. Тим ухватил проповедника за ноги, папаня — за голову, и, чтобы далеко не ходить, зашвырнули они знатока Библии аккуратно в сточную канаву, что трактир огибала. Утонуть там даже с перепоею не утнешь, а вот охладиться да «ощутить всю мерзость бытия», как наш пастор выражается, — самое оно.

Тем проповедь и закончилась. Правда, пастор потом в воскресенье в церкви пожурил папаню и Тима-плотника за своевольное обращение с духовным лицом и неправильные трактовки религиозных дебатов, но тут же признал, что поскольку молния их на месте не испепелила, то и у него претензий нет.

Пока я тут всё это вспоминал, то без дела не стоял, конечно. Меня ж маманя не за тем звала.

Вдвоём мы вытащили из сарая широкую и высокую корзину, точнее даже плетёный ларь. Он был прямоугольный, размером как раз с простыню, сложенную вдвое. В этом

ларе нам госпожа Берксма стирку и отдала. Не сама, конечно, через служанку. И в этот-то ларь мы бодро, в четыре руки, начали складывать высохшее бельё, тщательно следя, чтобы не запачкать, не испортить работу.

Вот почему я мыл руки, прежде чем войти на задний двор. А если извалялся где или подрался с кем, так и голову, и шею, и даже живот со спиной и ногами мыть приходится. Как принцесса какая-нибудь. А дерусь я часто. Тоже из-за этого.

Вот как сейчас, верно, буду. Потому что над забором возникла голова Тимпи, сына Тима-плотника, и засвистела:

— Эй, куда спрятался? Кто говорил, что в ножички отыграется?! Струсил, Янтье-Белоручка?!

Глава вторая

ОТЦОВА ШАПКА



разу нам смахнутья, конечно, не дали. Ма-
маня рявкнула на дурака Тимпи, и тот исчез
за забором. В самом деле дурак: кто же при ро-
дителях вызывает? Только тот, кто не на чест-
ный бой рвётся, а ремнём или мокрой про-
стынёй получить хочет. По спине и ниже. Дурак, в общем,
обезьянья башка. И за «белоручку» ответит!

Я же сделал вид, что мне вызовы всяких дураков ничуть
не интересны, и стоял почти спокойно, помогая мамане.

— Чего ты ногами елозишь, всё равно не пущу, — про-
бурчала та, аккуратно закрывая ларь.

Я только вздохнул. Не ответить на вызов — это же на всю
деревню позор! Да мне даже девчонки вслед плеватья ста-
нут, даже Анна-Мария из Большого дома!

Но маманя меня ухватила за руку и потащила за со-
бой в дом. Чудно! В доме-то мы сейчас, по майской погоде,
только спим. Потому что «нечего грязь тащить», как все-
гда говорит маманя. Но сейчас она завела меня в дом, пря-
мо на скоблёный, чистый-чистый пол, застеленный цвет-
ными половичками, и поставила перед собой.

А сама села на лавку-сундук, положив руки на колени. Смотрит на меня и молчит.

Я даже испугаться успел. Сразу начал вспоминать, чего такое маманя про меня узнать могла, о чём я ей не говорил.

Обезьянья башка Тимпи проболтался, что мы у его отца, Тима-плотника, стружку стащили да спалили в старой жестяной трубе, когда хотели сделать настоящую пушку? Да вряд ли, а от меня и дымом не пахнет совсем — не зря мылся!

Бабка Йоханна пожаловалась, что мы через лаз в её заборе короткой дорогой на мостки ходим? Тоже вряд ли, мы уже неделю там не лазали, чего бы ей вдруг это вспоминать!

Может быть, кто-то засёк меня, когда я подсматривал, как девчонки из Большого дома купались? Но кто?! И как, я же один был...

И тут я увидел, что маманя плачет. Сидит с прямой спиной, смотрит на меня, а по щекам слёзы текут.

— Ма? — тихо спросил я. Все мысли о грехах сразу из головы вымело. — Ма, ну ты это... Ты чего, а?

Она странно как-то вздохнула, а потом вдруг схватила меня и обцеловала всего. Я не сопротивлялся, хотя большой уже и всех этих нежностей терпеть не могу. У неё вон Катье-младшая для поцелуйчиков есть! Той только дай повод пообниматься, прилипнет, как тина в заводи.

Маманя наконец перестала меня тискать, отстранила от себя и вытерла глаза рукой. Потом, также ни слова не говоря, поднялась и откинула крышку лавки-сундука, на которой сидела. Порылась там немного — много-то и не вышло бы, не накопили мы богатств, — достала свёрток

из грубой парусины, закрыла сундук и бережно положила находку на стол.

— Ян, сыночек, — как-то очень серьёзно начала она. — Ты уже взрослый совсем. Ловкий да сильный. Папка наш тобой бы гордился. Ты настоящий Ян Янсзон ван Тау.

От таких слов мне стало тепло и слегка тревожно. Внутри было щекотно, словно что-то просилось наружу, но я понятия не имел что.

Мамадя опять вздохнула и продолжила:

— Помнишь, я в город ездила в конце зимы ещё?

Я кивнул: помню, конечно.

На Масленичной неделе мамадя как-то целый день вместо стирки сидела у печи и мазала красные, распухшие руки какой-то вонючей мазью, что притащила Катье-младшая от бабки Йоханны, нашей местной ведьмы. Её все ведьмой зовут. Боятся, значит, но ходят. Её снадобья помогают от ломоты, грыжи да простуды.

А на следующее утро мамадя собралась, надела своё лучшее платье в красную и чёрную полоску и самый новый, самый белый передник, подкрасила сажей ресницы и брови, мазнула красной глиной по губам и поехала в город.

Вернулась только к вечеру. От неё сильно пахло янэйвером, можжевелевой водкой, а сама мамадя улыбалась и при этом утирала слёзы.

Тогда она ничего не сказала, а сейчас вот вспомнила.

— Я ездила к милостивому господину Свинкелю, — продолжила мамадя.

Ага, понял я, к тому самому милостивому господину Свинкелю, владельцу канатной мастерской, где работал



мой отец, Ян ван Тау, пока не утоп. И которому мы всем обязаны, как не устаёт напоминать маманя. Но при чём тут я? И зачем плакать?



— Мы договорились, что ты, Янтье, Ян Янсзон ван Тау, поступишь к нему в ученики, как только войдёшь в возраст.

Ого, вот это новости! Я — и в ученики! В город! К самому милостивому господину Свинкелю! Да наши деревенские с ума сойдут, когда я им это расскажу! Даже Тимпи, обезьянья башка, всего лишь у своего отца, Тима-плотника, учеником прозябает. А я в настоящий город, в настоящую канатную мастерскую иду! Да там, небось, народу больше, чем на рыбацкой лодке работает! Дюжина, небось, а то и целых две! Это тебе не стружку мести!



А маманя продолжила:

— На той неделе тебе исполнилось одиннадцать, сыночек! Ты стал совсем взрослым...

Я солидно кивнул. Есть такое дело, чего скрывать!

И тут маманя взяла и размотала свёрток, что достала из лавки-сундука. Я про него и думать забыл, а он самым важным оказался! Потому что маманя аккуратно смахнула с войлока невидимые пылинки, достала оттуда и водрузила мне на голову настоящую, родную отцову шапку.

Шапка коренная, рыбацкая — круглая, из чёрного плотного козьего войлока с кожаными вставками, с широкими обвислыми полями. Спереди поля круто загибаются, прижимаясь ко лбу, открывают обзор и придают тебе сразу лихой рыбацкий вид.

Но самое главное — это настоящая шапка. Отцова шапка.

Всё остальное мигом вылетело у меня из головы. Шапка! Отцова! И я могу теперь её надеть!

Мы, мелкота, мальчишки и девчонки, головных уборов не носим. Не заслужили ещё. Пустые головы. Шапки, шляпы, чепцы и прочее — убор взрослых. Это взрослому с непокрытой головой на улицу выйти позор, лучше уж без штанов, право слово.



И вот я стою в шапке. Как взрослый! Нет! Не как! Просто — взрослый!

Маманя посмотрела на меня, опять вытерла глаза и говорит:

— Завтра ты отправляешься в Алкмар. Я договорилась, тебя до самых ворот проводят. В Алкмаре найдёшь канатную мастерскую милостивого господина Свинкеля. Она за Горбатым мостом, против Рыбных рядов. Передашь ему поклон от вдовы Яна ван Тау да пирог с фасолью, как раз сегодня печь будем.

Я только кивать мог и говорить «ага, ага». Слушать я, честно сказать, не очень слушал. Чего там слушать?! Что я, целую канатную мастерскую в городе не найду? А пирог завтра дадут только.

— И помни, что всем на свете мы обязаны милостивому господину Свинкелю! — строго повторила маманя свою присказку.

Я послушно кивнул.

Голова моя была от милостивого господина Свинкеля далеко. Я представлял себе, как выйду сейчас на улицу. В шапке! В шапке, конечно, уже не побегаешь, как просто-волосый ребёнок какой. Не тот вид.



Идти буду не торопясь, сплёвывая сквозь зубы... Эх, жаль, что у меня жевательного табака нет и сплюнуть нечем! Вон Тим-плотник как сплюнет, так сплюнет — жёлтая слюна на пять шагов летит! Во как надо!

Хотя... Нет, не буду я как Тим-плотник! Папаня-то мой табак не жевал! И я не буду, все и так увидят, что я уже взрослый.

— Да иди уже, сейчас в полу дырку протрёшь, как елозишь, — отпустила меня маманя. — Вечером, как пробьёт на колокольне седьмой час, чтоб дома был!

И я рванул наружу.

Перед калиткой с заднего двора взял себя в руки, глубоко вздохнул, сунул руки в карманы и в палисадничек вышел уже солидно, как и полагается взрослому человеку.

Катье-младшая давно закончила с фасолью и теперь болтала с подружками на лавочке. Увидела меня, смешно округлила и рот, и глаза. Линтье и Гантье, подружки её, тоже ошарашенно смотрели на меня, на нового, взрослого Янтье... Нет, не Янтье — на Яна!.. Глаза у них так и блестели от восторга.

Я солидно, но скромно кивнул, поприветствовал всех троих. Пусть знают, что взрослый Ян не зазнался и хороших людей уважает.

Они мне медленно кивнули в ответ, а белокурая, как ангелочек, Линтье ещё и покраснела при этом. Она быстро краснеет, у неё кожа белая-белая, как у принцессы какой. Хотя дочка совсем не короля, а нашего старика Клауса, парусного мастера.

Так, довольный первым впечатлением, пошёл я по улице. Девчонки что, они мелкие совсем. Вот бы сейчас Тимпи встретить! То-то бы он ошалел!

Но дурака Тимпи нигде не было видно. Может, оно и к лучшему — я спокойно прошёлся по всей главной улице деревни, приветствуя взрослых как равный. То есть слегка кланялся и приподнимал шапку. Те, надо сказать, сначала изрядно удивлялись. Как же: только утром я носился обычным пустоголовым мальцом! Спрашивали: «Почему в шапке, Янтье?» А я им степенно отвечал: мол, я теперь ученик в канатной мастерской, в город завтра иду. Они все улыбались, приветливо кивали, мужчины тоже приподнимали шапки, а женщины отчего-то печально качали головами да отводили взгляд, утирая глаза передниками. А то и догоняли потом, всучивая мелкие монетки — бабка Йоханна дала целый стойвер! Точно ведьма! — и не слушали возражений. Я краснел и прятал монетки в пояс.

Так и дошёл до нашего места, за запрудой, на песчаном берегу в окружении густых зарослей камыша.

— Смотрите-ка, Янтье-Белоручка явился! — Тимпи меня первым заметил.

— Ишь ты! Идёт будто взрослый! — заржал Толстый Йон, сын Йохима-трактирщика.

— Ещё и шапку нацепил! — хмыкнул Тимпи. — Втайне от мамки, небось, в сундук залез!

— Это ты по сундукам втайне лазаешь! — с достоинством отбрил я приятеля. — А я шапку по праву надел!

— Врёшь! — обиделся Толстый Йон. — Врёшь, собака!

Ещё бы, ему тринадцать уже скоро, а шапку я получил. И теперь по всем законам могу ему хоть по шее дать, хоть по делу послать. Обидно!

— Сам собака толстая! — набычился я. — Когда это я в важных делах врал?!

— Эй, Йон, Янтъе верно шебутной, но врать никогда не врал! — внезапно вмешался Пит-Головешка из Большого дома.

Пита все уважают.

Во-первых, он храбрый. Его Головешкой не просто так прозвали: когда дом старика Клауса горел, он оттуда детей вытащил: Линтъе, подружку нашей Катье, и сестрёнку её меньшую, Анни. Во-вторых, он в Большом доме командир, десять парней и двенадцать девчонок его слушают!

Большой дом — это сиротский приют в нашей деревне. Схермер-озеро, может, и не море, но буйно и грозно. Тонут рыбаки, гибнут от горя, холода да голода их жёны, остаётся сиротами малышня. Вот и построили всем обществом Большой дом, а супруги ван дер Вильды им управляют и в порядке содержат. Ван дер Вильды окрестным не чета, старая фамилия, благородная. Но детей в порядке держат, голодать не дают, работой сверх меры не грузят, не обижают. Это всем известно.

Анна-Мария из Большого дома, самая красивая девочка в мире — вся в веснушках! — тоже была здесь и смотрела на меня во все глаза.

— Пусть поклянется! — не унимался Толстый Йон. — Страшной клятвой пусть поклянется!

Я только презрительно сплюнул ему под ноги. Хоть и без табака, а плевков вышел знатный!

— Да не вопрос! — ответил.

И набрал в грудь воздуха:

— Чтоб я слёг, чтоб я сдох, чтоб меня гадюки укусили, чтоб меня католики окрестили, чтоб я чумой заразился, чтоб я в англичанина превратился, чтоб меня по волнам болтало, а коль я соврал — начинай сначала!

Толстый Йон сопел, но возразить уже ничего не мог. Такими клятвами не шутят.

Тут-то они все и притихли. И тогда я им рассказал, что буду теперь жить в Алкмаре и учиться в канатной мастерской.

Тимпи сразу позабыл, что именно он первым начал сомневаться, и уже всю представлял себе, как я разбогатею от городской жизни и вернусь в деревню в двухцветном плаще, в башмаках с серебряными пряжками, а в каждой руке у меня будет по кульку со сладостями. Или нет, в правой — шпага, а в левой — кулёк. Два. И всё это я, разумеется, дам примерить, поносить и попробовать своему лучшему другу Тимпи.

Толстый Йон не простил унижения и ядовито бурчал себе под нос, что город, мол, и не таких обламывал и что ждёт меня там жизнь бродяги или нищего.

Пит-Головешка и другие мальчишки из Большого дома давали ценные советы. Они же ходили иногда в Алкмар на работу: красили стены и заборы, чистили каналы, пололи траву в садах богатых горожан.





Советы и впрямь ценные. Деньги вот надо хранить в поясе или зашивать в потайной карман. Иные дурачки прячут монеты в башмак, но то дело ненадёжное — башмаки в хорошей драке слетают первыми, а обшаривать спящих или раненых воры всегда начинают с обуви.

С городскими дело иметь можно, совсем уж уродов среди них никто не мог припомнить. Но за честь родной деревни постоять придётся. Это я и сам понимаю, взрослый уже.

Главное же в городе не теряться и не ходить разинув рот, не пялиться на все городские диковинки. Лопуха-разиню даже самый милосердный ангел не сочтёт за труд облапошить.

Тут Толстый Йон, злой и вредный, устал, что всё внимание мне досталось, и говорит, мол, мы тут вообще-то собрались в ножички играть. И — чудеса-чудеса! — поставил на кон свой собственный нож.

Дело серьёзное. Про мой Алкмар, про моё ученичество и даже про мою шапку все сразу забыли.

Нож у Толстого Йона настоящий, стальной, какой не у всякого взрослого найдёшь. С гладкой дубовой рукоятью, с медной шишечкой противовеса, даже с кольцом, к которому крепится шнурок! Такой нож уже не стойвер стоит, а как бы не целый флорин! А то и пару гульденов.



Нож Толстый Йон получил только-только на днях. Выпросил у папани своего заранее. Ему через неделю, как раз на Троицу тринадцать будет. Толстый Йон похвалялся, что получит и право шапку носить, и настоящим учеником трактирщика станет. Мол, взрослым будет, самый первый из нас. А тут — я!

И теперь Толстый Йон жаждал отыграться.

На земле быстро начертили круг, «пирог». Девчонки взялись судить. Это честно: их не перекричишь, если разом визжать начнут!

Анна-Мария быстро и чётко проговорила считалочку. Дело важное. Она даже покраснела до самых корней рыжих кудряшек, так что и веснушек почти не стало видно.

Разбивать выпало Питу-Головешке. Его старый сточенный ножик вошёл почти точно в центр круга.

Дальше все пошли «делить пирог». Девчонки судили честно, но иногда между собой спорили, чтобы честнее было. А если из нас кто пытался вставить веское мужское слово, встречали единым фронтом «не лезь!», так что любая терция обзавидуется.

Толстому Йону везло. Да и с таким-то ножом! Но он и играл хорошо, что есть, то есть.

А я со своим обломком быстро вышел из игры и теперь только следил, переживал за других.

Пыхтел Тимпи, обезьянья башка, Пит-Головешка был сосредоточен и молчалив, лыбился Толстый Йон, покрасневшая Анна-Мария сердито сдувала лезущие в глаза волосы и становилась ещё красивее...

А я вдруг подумал, что завтра уже уйду в город и вернусь... да Бог его знает, когда вернусь. Ученик — собственность мастера, он и работает, и живёт при мастере, под маманину юбку уже не спрячешься, не сбежишь. Это что же получается, я сегодня, может быть, последний раз вот так? С ребятами, с нашей заводью, с камышами этими, с Анной-Марией? И больше этого никогда не будет?



Шапка, отцова шапка словно легла мне на голову тяжёлым грузом. Это и есть взрослость, что ли?

Но тут раздался разочарованный вопль Толстого Йона и одновременно восторженный визг девчонок из Большого дома, да и всех остальных тоже. Пит-Головешка выиграл!

Все глупые мысли разом выскочили у меня из головы. Ура! Пит получит знаменитый Йонов нож! Так Толстому и надо, нечего выхваляться!

Но тут случилось нечто, что заставило всех нас, даже танцующих от радости девчонок, замереть на месте. Толстый Йон схватил свой — да нет, уже Питов! — нож, засунул в ножны под рубахой и отпрыгнул в сторону.

— Горчицу вам в штаны, а не мой нож! — выкрикнул он.

— Отдай! — сжав кулачки, крикнула Анна-Мария. — Это нечестно!

— Ха, нечестно! — рассмеялся Толстый Йон. — А благодетелей обманывать честно? Бродяги, нищелюбы! Отцу расскажу, будет вам от господ ван дер Вильдов порка! Играть-то вам, сиротам убогим, запрещено!

— Отдай выигрыш! — вскинулся я.

Рядом тут же встали Тимпи, ещё ребята. Никто Толстого Йона не поддержал.

Но тому, кажется, было всё равно. Он презрительно хмыкнул и добавил:

— Попробуйте мне что сделать — всё через отца хозяевам Большого дома донесу. И про игру, и про то, как девчонки без рубах купались, про всё!

Я аж покраснел от злости. Про девчонок же это я рассказал. Чисто между нами, мужчинами. Только Толстый Йон не мужчиной оказался, а... трактирщиком.

— Так что, — Йон опять издевательски хмыкнул, — прощайте, нищebroды. Отец мне уже давно говорил, чтоб я с вами не водился. У господина судьи сын подрастает, у господина нотариуса две дочери. Вот приличная для меня компания, а вы... — и он сплюнул в заводь.

Повернулся, чтобы уйти, но внезапно остановился и добавил:

— А знаешь, Пит... Ты приходи за выигрышем-то. Я тебе честно отдам, да ещё и трактир наш добавлю... Да что трактир, сам к тебе в услужение пойду!

Все замерли, не понимая. С чего этот жадина такие обещания даёт? Но следующие слова Толстого Йона всё расставили по местам.

— Вот как ты по дну нашего Схермер-озера, — сказал он, — как по дну нашего озера пешком пройдёшь, так всё и получишь!

И, заржав во всю свою лошадиную глотку, свалил.